

В. А. СОЛЛОГУБ

A decorative horizontal line with ornate, symmetrical flourishes at both ends, resembling stylized scrollwork or floral motifs.

ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

Владимир Александрович Соллогуб

Аптекарьша

Молодой аристократ, возвращаясь в Петербург, застрял в уездном городке, где нет столичных удовольствий и нет приличного общества, а самой хорошенькой женщиной почитается немочка-аптекарьша. Проезжий узнает в жене аптекаря свою давнюю знакомую, дочь университетского профессора, и вспоминает, какую нежную склонность питал он к ней в лихие студенческие годы. Минувшее вернулось вдруг...

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0019
III.....	.0047
IV.....	.0061
V.....	.0080
VI.....	.0091
VII.....	.0099

**Владимир Александрович
Соллогуб
Аптекарьша[1]**

Уездный город С. - один из печальнейших городков России. По обеим сторонам единственной грязной улицы тянутся, смиренно наклонившись, темно-серо-коричневые домики, едва покрытые полусогнившим тесом, домики, довольно сходные с нищими в лохмотьях, жалобно умоляющими прохожих. Две-три церкви — благородная роскошь русского народа — резко отделяются на темном грунте. Старый деревянный гостиный двор — хранилище гвоздей, муки и сала — грустно глядится в огромную непросыхающую лужу. Из двух-трех низеньких домиков выглядывают пьяные рожи канцелярских тружеников. Налево красуется кабак с заветною елкой, за ним острог с брусняным тыном, а вправо, на полуразвалившемся фронте, прибита черная доска с надписью:

«Аптека, Apotheke».

В один из тех печальных дней, когда кажется, что небо хмурится на землю, молодой человек сидел у окна одного из этих убогих

домиков и сердито курил сигару.

На голове его была надета, по привычке набекрень, щегольская шапочка с кисточкой. Халат его, сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами, свидетельствовал о щеголеватости его привычек, а частые струи дыма в то же время ясно доказывали свирепость его душевного расположения.

Внизу на улице, у самого подъезда, стояла коляска без лошадей и почти до оси в грязи: около коляски нехотя суетился камердинер, вынимал поклажу и ворчал что-то сквозь зубы с самой ожесточенной физиономией.

Кругом собралось несколько мальчиков в немом удивлении, а напротив, на полупровалившемся тротуаре, стояла баба с коромыслом на плече и с вытаращенными глазами.

Молодой человек погрузился невольно в самые досадные размышления. «Теперь, — подумал он, — в Павловском вокзале готовится иллюминация. Herrmann играет вальсы, галопады и всякие попури; гусарские песенники поют, дамы ездят верхом; мои товарищи любезничают, а я сижу в этой труппе; теперь наполнен французский театр, m-me

Алан играет; товарищи мои слушают и хлопают, а я сижу в этом захолустье! А в субботу, в субботу бал на водах; там и О... и В... и Б.; товарищи мои будут с ними танцевать, они будут им улыбаться, будут с ними кокетничать, кокет-ни-чать... с ними будут!.. А я сижу в этой темнице, в этой ссылке, в этом заточении!»

Вдруг необычный шум на улице остановил порывы его негодования. Молодой человек высунулся из окна.

Под окном камердинер его Яков спорил с каким-то господином в пуховой фуражке и в венгерке с снурками и кисточками, что, как известно, явный признак провинциального франта.

— Я тебя спрашиваю, чья коляска? — говорил франт.

— Я вам сказываю, что господская, — сердито отвечал Яков.

— Да чья господская?

— Ну, говорят вам, господская.

— Да чья же?..

— Ну господская. Всё узнаете, скоро составитесь.

— Что... что?.. Вот я тебя... Да нет, вот... возьми, братец, гривенник, скажи, голубчик, чья коляска?

- Не надо мне вашего гривенника. Любопытны слишком. Ступайте своей дорогой.

— Коляска моя! — закричал молодой человек из окна. — Что вам угодно?

Франт поспешно поднял голову и начал раскланиваться, стоя в грязи:

— Ах! Извините-с. Шел мимо-с. Вижу-с коляску отличной работы-с. Смеею спросить: что изволили за нее дать-с?

— Три тысячи пятьсот, — отвечал молодой человек.

— Гм! Деньги хорошие. Смеею спросить: с кем имею честь говорить?

— Барон Фиренгейм.

— Ах, помилуйте... Я вашего, должно быть, родственника очень знал-с; вместе в полку были. Позвольте быть знакомым.

И, не ожидая приглашения, франт опророметью бросился к крыльцу, а через мгновение очутился уж в комнате приезжего.

— Позвольте-с спросить: как вам придется барон Газенкампф, который был у нас

ротмистром в полку?

— Моя фамилия не Газенкамф, а Фиренгейм, — отвечал, улыбнувшись, молодой человек.

— Ах! А мне послышалось — Газенкамф. Извините, пожалуйста. Какой у вас хорошенький халат; чато, теперь такие халаты носят в Петербурге.

— Не знаю, право. Как кто хочет.

— Очень хороший фасон. Я попрошу у вас для выкройки. По делам службы изволили, вероятно, к нам приехать?

— Да-с.

— Я вам должен доложить: я с здешними господами служащими никакого дела не имею и в глаза почти не знаю. Городничий наш, Афанасий Иваныч, — изволите его знать? — добрый человек, только слаб немножко, за купцами ухаживает; впрочем, многого не возьмешь: у нас купечество себе на уме. Сами так исправно воруют, что любо. Вы их еще не изволите знать? Криворожий, Надулин, Ворышев — лихой народ, нечего сказать. Исправник наш добрый человек, да попивает. Судья так себе, зато уж стряпчий

молодец, а впрочем, я их знать не знаю. Что это у вас, часики на столе?..

— Часы.

— Ах, позвольте взглянуть. Какая прелесть! Что за цепочка! Нам, провинциалам, таких вещей и во сне не видеть.

— У вас, кажется, тоска нестерпимая в вашем городе?

— Да-с, сказать правду. Хуже быть не может. Вот то ли дело в Т. Сто верст всего отсюда. Дворяне живут в городе, и купечество зажиточное, а здесь просто пустыня; впрочем, в двадцатом году здесь было рекрутское присутствие, так тоже весело жили. Даже, говорят, дворянское собрание было в доме, что нынче аптека. Были балы; помещики съезжались. Очень было весело. Жидовская была музыка. До сих пор вспоминают.

— Как, неужели у вас нет ни одного дома, где бы можно было провести вечер?

— Нет-с, с двадцатого года здесь никто из дворян не живет... Да, бишь, предводитель наезжает иногда.

— Женатый человек? — спросил поспешно барон.

— Нет-с, холостой. Это туалетный прибор у вас на столе?

— Да-с.

— Серебряный или аплике?

— Серебряный.

— Ах, позвольте взглянуть. Как хорошо! Какая работа! Дорого изволили дать?

— Не помню, право.

— Отличная вещица! Я еще такой не видел. А эти пилочки на что?

— Для ногтей.

— Уж чего теперь не выдумают! Надо сказать правду.

— Да что же вы здесь делаете? — спросил с отчаянием молодой человек.

Господин в венгерке взглянул на него с удивлением.

— Да ничего-с.

— Как же вы здесь живете?

— Да я у помещиков гощу большею частью. Свою деревеньку я продал, так живу себе поневоле иногда в городе, а то в гостях всегда.

— И вы ни с кем здесь не знакомы?

— С служащими я не веду особенного зна-

комства, а так иногда захожу к Францу Иванычу.

— А кто это Франц Иваныч?

— Франц Иваныч?..

— Да!..

— Наш аптекарь.

— Ученый человек?

— А бог его знает. Человек добрый. Жена у него немочка прехорошенькая, хотя бы в столицу; и там скажут, что недурна.

— Хорошенькая!..

— Очень недурна-с. Только жаль, что по-русски плохо говорит: понимает-то понимает, а уж разговаривать — слуга покорный.

Лицо молодого барона прояснилось. Мысль о хорошенькой женщине так могуча в юные годы! Весь город показался ему не так отвратителен. Изломанные крыши сделались живописными. По грязной улице очертились протоптанные тропинки. Барон вздохнул свободнее. В эту минуту парные дрожки остановились у подъезда.

— Городничий, — сказал с некоторым смущением фронт в венгерке. — Извините, что я вас побеспокоил. Позвольте быть знакомым.

Засим, поклонившись почтительно барону и еще почтительнее входящему городничему, любопытный провинциал вышел на улицу, осмотрел со всех сторон коляску, заглянул под фартук и отправился домой, сопровождаемый глухою бранью камердинера Якова.

Выпроводив городничего, квартировавшего некогда с полком в Белоруссии и почитавшего непреложною обязанностью с того времени перевозить полек, к явной обиде наших православных дам, молодой барон кликнул Якова и начал одеваться.

Полчаса тому назад он бы и не взглянул на подаваемое ему платье, но теперь он назначил и сюртук, и жилет, и галстух и вынул из дорожного ящика большую жемчужину в золотой лапе, которой лапой он заколол пестрый шарф, обвивающий его шею. Одевшись таким образом, он вышел прогуляться, подышать свежим воздухом и неприметно отправился прямехонько к аптеке.

Сперва он внимательно осмотрел странную архитектуру дома, где некогда уездное дворянство выплясывало под жидовскую музыку; потом раз пять прочитал надпись: «Ап-



тека, Apotheke», потом обошел раза два дом со всех сторон, потом пошел далее. У него не доставало храбрости войти в аптеку без причины, и в эту минуту он дорого бы заплатил за какой-нибудь незначительный недуг, принудивший его к требованию врачебных пособий.

У светских людей, несмотря на их наружную неустрашимость, часто бывают минуты подобной нерешительности, в которых они, впрочем, душевно раскаиваются и никогда

никому не сознаются. Через полчаса молодой барон, как бы влекомый neodолимым магнитом, опять подошел к аптеке, посмотрел в окна, остановился, хотел завернуть на крыльцо и опять прошел далее. Сердце его билось. Наконец ему стало стыдно самого себя. Как возмущившийся трус, он вдруг повернул назад и натолкнулся на нового своего знакомца-франта, который выходил из аптеки.

— А я от Франца Иваныча, — сказал франт, — ходил ему сказывать, что вы приехали. Он говорит, что он в университете был с одним бароном Фиренгеймом, лет шесть назад.

— Это я. Других Фиренгеймов нет.

— Ну, так он вас знает.

— Право?

— Что это у вас, жемчуг в булавке?

— Да.

— Ах! Позвольте взглянуть. Какая работа отличная! Уж чего не придумают! Давай только денег. Где нам, провинциалам, иметь такие вещи! Вас и Шарлотта Карловна знает.

— Право? — воскликнул барон и опрометью бросился на крыльцо, оставив собеседни-

ка в порыве грустного размышления и самопознания.

Аптека была устроена с некоторою щеголеватостью.

Полки по стенам, бутылки и стеклянки с латинскими надписями, ящики где следует, конторка, весы; одним словом, фармацевтическая декорация была самая приличная и доказывала аккуратность распорядителя. В передней, просто обитой тесом, пожилая баба толкла что-то в ступе, а у самых дверей стояло двое мальчишек, присланных один за бузиной на десять копеек, а другой за ревенем на гривенник.

У конторки сидел аптекарь, небольшой человек с кудрявою рыжею головкою и с самой добродушной физиономией; усердно записывал он расход своим травам и скудный приход выручаемых копеек с такою же отчетливостью, как будто дело шло о миллионах. Подняв нечаянно голову, он вдруг увидел стоящего перед ним столичного щеголя, который, укротив мгновенный пыл своей решительности, стоял в недоумении, не зная, чем начать

разговор.

— Что вам угодно? — спросил аптекарь.

Щеголь еще более смешался. Нельзя же было ему сказать, зачем он действительно пришел.

— Я... — отвечал он, — хотел бы содовых порошков.

— У нас, — отвечал аптекарь, — соды не требуют, а оттого мы ее и не держим. Здесь не столица, — прибавил он, улыбнувшись, — требуют только дешевенького.

— Мы, кажется, были вместе в университете, — сказал, приободрившись, барон.

— Да-с... Только мы знакомы не были, а я вас очень помню: вы были ландсманом, а я был буршеншафтером[2]. К тому же факультеты у нас были различные.

— Точно.

— Я вас на фехтбоденах[3] видел. Только вы так переменились, что я никак бы вас не узнал. Прежде вы ходили совершенным буршем, а теперь вы такой щеголь...

— Живу в другом мире, поневоле переменяйся.

— А знаете ли, господин барон, вы никак

не ожидаете встретить здесь старую знакомую?

— Как?..

— Вот сейчас увидите. Эй! Шарлотта Карловна, Шарлотта Карловна! Будь так добра и поди сюда.

— Я совсем по-утреннему одета, — отвечал женский голос.

Сердце барона забилося.

— Полно, Шарлотта Карловна, церемониться, здесь знакомый.

Барон невольно уставил глаза в двери. В соседней комнатке послышались шаги, легкий шорох поспешного туалета, наконец шаги стали приближаться, дверь распахнулась, и у дверей показалась аптекарша...

— Как, вы здесь? — воскликнул барон.

— Да, — сказала аптекарша, покраснев и вздохнув невольно. — Это я. Давно мы с вами не видались, господин барон.

Перенесемся теперь в другой городок, в другую землю, к другому времени, за несколько лет перед началом моего рассказа.

Городок, в который я вас хочу перенести, читатель мой благосклонный, совсем не похож на тот, которым я так грустно начал повесть свою об аптекарше. В этом городке все дышит какой-то умственной деятельностью и душевным молодым разгулом. По улицам толпятся молодые люди в коротких плащах и дружно толкуют между собою. Другие, с тетрадями и книгами под мышками, спешат на голос благовествующей науки, тогда как за белыми занавесками хорошенькие личики, с ярким румянцем на щеках, украдкой на них поглядывают.

Университетские годы! Годы молодости, годы невозвратимого братства, когда в каждом товарище видишь друга, в каждой науке видишь достигаемую цель, в каждой женщине — высокое олицетворение мечтаемого идеала! Скоро проходите вы, годы неумолимые; но душа долго на вас оглядывается, дол-

го вами любуется и хранит вас вечно, как драгоценное свое сокровище, сокровище теплых вдохновений и чистых, высоких помыслов.

Недалеко от деревянного моста, в кривой узенькой улице существует, вероятно, и поныне низенький деревянный домик с большим двором и небольшим надворным строением. В домике немного комнат, и те убраны без роскоши, даже скудно; но в них обитает спокойствие, которого нельзя приманить ни лионскими обоями, ни парчовыми занавесками. Из передней вы входите в гостиную, устроенную по заветному преданию. У главной стены, в математической середине, стоит диван, обитый черной волосяной материей и с выгнутой спинкой красного дерева; перед диваном овальный стол, покрытый клеенкой, на котором стоят два подсвечника и щипцы; по бокам дивана по три кресла, обтянутые также плетеным волосом; между окнами два ломберных стола; к боковой стене приставлено фортепьяно; с другой стороны несколько стульев; над диваном два литографированные портрета знаменитых германских ученых да с обеих сторон дверей по одной мед-

ной лампе, прибитой к стене; пол дощатый, не крашеный, но чисто вымытый; стены просто выбелены — это гостиная. Подите дальше: с пола до потолка со всех четырех сторон поделаны полки простого дерева; на полках громоздятся книги всех видов и переплетов; огромные фолианты, как фундаменты науки, лежат в самом низу; прочие книги укладываются над ними плотной стеной; посреди комнаты письменный стол, заваленный бумагами и книгами, — это кабинет ученого, кабинет немецкого профессора, что обнаруживается педантическим кокетством учености, отличающим главную комнату дома. За этим кабинетом каморка, где отдыхает профессор после дневных трудов своих, а далее небольшая комната его дочери, пятнадцатилетней девочки, только что расцветающей свежелою красотою на радость отцу и обожание студентам.

В надворном строении, против окон молодой девушки, поделаны расчетливым хозяйством небольшие комнаты, нанимаемые студентами по семестрам за сходную цену. В сравнении с этими комнатами скромное жи-

лице профессора — чудо роскоши!

Если вы были студентом, мой читатель, то вспомните мебель вашей студенческой квартиры — и нехотя вы улыбнетесь и вместе вздохнете, потому что вы готовы отдать всю лавку Гамбса за тот изорванный диван, за те изломанные стулья, на которых вы были молоды, полны надежд и огня, полны любви и восторга. Что за жизнь в студенческой комнате! Сколько значения!

Сколько прекрасного и смешного! Сколько разгульного и глубокого вместе! Тут череп и человеческие кости, там пестрые шапки, огромные трубки, рапиры, карикатуры на стене; с другой стороны громады тетрадей и книг; далее — бутылки и стаканы, карты, дубины, плащи, вассерштифели[4] и большой белый пудель, который, важно выставив морду, глядит на все спокойными глазами хозяйского друга.

В первом семестре 18** года на студентской квартире поселился только что приехавший Maulesel[5], курляндский юноша, барон Фиренгейм. Вскоре, по странной академической терминологии, лошак превратился в ли-

сицу, то есть из недорослей вступил в звание студента первого семестра и получил право гражданства в этом фантастическом мире, где так много высокого и так много комического, что оба начала срослись вместе и стали нераздельны. Оглядевшись со всех сторон, напившись пьян на приемном торжестве, надев пеструю фуражку, заплатив за коллегии, испытав силу руки своей в махании рапиры, молодой барон рассудил, что, чтоб быть полным студентом, ему оставалось еще одно — влюбиться. Барон был то, что в полках и учебных заведениях называют добрым малым: не отставал ни от кого, с пьяными готов был пить, с рубаками рубиться, с картежниками играть, с трудолюбивыми углубляться в науку, с лентяями ничего не делать. От этой створчивости терялась, может быть, самостоятельность его характера и уменьшалась к нему степень уважения товарищей, всегда привлекаемых положительным и резко выраженным нравом; но зато недостаток этот искупался поэтической теплотою сердца, любовью ко всему прекрасному, умом проницательным, которому при напряжении мало

оставалось недоступного; одним словом, природа его была благородная, часто возвышенная, но всегда нравственно аристократическая.

Для дополнения своего студенческого бытия молодому барону, казалось бы, идти недалеко: против его окон, с другой стороны двора, белелись две чистенькие занавески, а за ними выглядывало розовое личико пятнадцатилетней девочки, с большими темно-синими глазами, с длинными шелковистыми ресницами, с детской задумчивой головкой. Молодой человек мог следить за всеми ее движениями. Утром мог он видеть, как, надев черный передник и коленкорovou шляпку, она укладывала свои книжки в мешок и отправлялась в школу, стыдливо потупляя глаза от нескромных взоров любопытных студентов. Потом приходила она домой и помогала толстой кухарке в хозяйских распоряжениях. Мать ее уж несколько лет как скончалась, оставив ее ребенком, а отец ее, профессор, старик, погруженный в книги и ученость, во всем на нее полагался. После скромного обеда она садилась за фортепьяно, играла кое-как

старинные сонаты и, если сказать правду, пе-
ла довольно плохо немецкие романсы из со-
брания, известного под названием «Arion». Потом она иногда прогуливалась с отцом. Ве-
чером старик закуривал сигару и забавлялся
чтением ученых журналов, а она уходила в
свою комнату; свечка зажигалась за белыми
занавесками, и уединялась в свое смиренное
святилище. Тогда она занималась завтраш-
ним уроком, письмом к приятельнице, узо-
ром для вышивания или читала любимого
поэта.

Случалось, что перо ее останавливалось,
книга выпадала из рук, головка ее, осененная
густыми локонами, невольно упиралась на
ручку и она задумывалась о чем-то неразга-
данном, как будто одолеваемая мучитель-
ным, но в то же время сладким предчувстви-
ем.

Тогда она долго сидела в бездействии: ей
было то неясно весело, то неизъяснимо груст-
но, то улыбка без причины оживляла ее дет-
ское личико, то нежданная слеза наворачива-
лась на ее глазах. Она тихо вставала. Строи-
ная тень рисовалась на занавесках. Свечка

гасла. В доме профессора водворялась тишина.

Наступала ночь.

Зачем же было идти далее молодому студенту? Неужели хорошенькое личико, пятнадцать лет, скромная поступь, влажный взгляд, неужели поэтический призрак, веющий около германской девушки, не были достаточны, чтоб остановить его внимание, приковать его сердце?

Увы! Студент мой родился бароном, бароном немецким, с гербом в три аршина, прибитым на колоннах старой соборной кирки, во славу его баронского достоинства. Студент мой рожден богатым наследником, что, замечу мимоходом, между немецкими баронами почти неслыханное чудо, совершившееся в его пользу, к великому удивлению и зависти всех соплеменников его.

Эти два обстоятельства, сопряженные с его природным аристократическим свойством, развили в нем какое-то неодолимое, жеманное чувство, гнушающееся всякого жестокого столкновения с существенными подробностями небогатого житейского быта. Бедный мо-

лодой человек, на идеальный предмет своих мечтаний, на нежного спутника, парящего на невидимых крыльях в тумане юношеского воображения, он надевал свою баронскую корону, облакал его в модные ткани, подкладывал ему под ноги английские ковры и влагал ему в уста, безрассудный, вместе с выражениями страсти бессмысленные речи светского пустословия.

С такой несчастной склонностью мудро ли, что он глядел на свою соседку если не совсем равнодушно, то без всякого душевного восторга. Коленкоровая шляпка казалась ему чересчур противною всякому мощному приличию, а камлотовый мешок с книгами разверзался в его мнении могилой для поэзии. К тому же он видел, как молодая девушка сама по утрам принимала провизию на кухню, взвешивала рыбу, осматривала овощи, а потом долго торговалась и платила медными деньгами; кроме того, он заметил, что на ней по будням было ситцевое платье, всегда одно и то же, и что по воскресеньям она надевала платье белое перкалевое, и хотя она была хороша в нем, как ангел, хотя все любовались

ею, от мала до велика, от супер-интендента до последнего гимназиста, но молодой барон один припоминал с досадою, что она это платье сама шила, сама гладила и берегла как глаз, потому что другого у нее не было.

А вечером, когда, утомленная учением и хозяйственными заботами, она удалялась в свою комнатку и свечка загоралась за белою занавеской, казалось, как бы не устремиться очами и душой к таинственному свету, казалось, как бы не перелететь вдохновенною мыслью в ее уютный уголок и не повергнуться в прах перед ее ликом, сияющим небесною кротостью. Увы! Барон не мог забыть, что свечка, таинственно освещающая ее комнатку, не что иное, как сальный огарок, что кровать ее из простого некрашеного дерева, что белье ее грубое и что, засыпая, она, вероятно, покрывается изношенным салопом.

Несмотря на то, он воспользовался правом соседа, и, выбрав, как водится, праздничный день, надел черный фрак и белые перчатки и ровно в двенадцать часов отправился к профессору с визитом. При входе он заметил в полузахлопнутой двери любопытную головку

профессорской дочери — и ему стало досадно сперва за то, что она показалась, а потом за то, что она спряталась.

— Mein junger Freund[6], - сказал ученый доктор *utriusque juris*[7], добродушно выдвигая очки и нос из груды запыленных бумаг. — Добро пожаловать. Вы *камералист*[8], кажется?

— Нет-с, дипломат.

— А!.. — *diplomatiae cultor*[9]. Вы слушаете лекции моего ученого друга Беккера?

— Так точно.

— Вы прилежно занимаетесь?

— Иногда-с.

— Занимайтесь, мой молодой друг. В науке — семя всего доброго и высокого. Не тратьте времени по-пустому: время — наш капитал самый драгоценный. *Ars longa, vita brevis*[10]. Вы сосед наш, кажется?

— Имею эту честь.

— Прошу быть без церемоний: мы здесь не в столице; а без лишних слов, если я могу вам быть чем полезен, то располагайте мною. У меня есть редкие издания... да-с, сочинения, которые надо поискать, да, поискать, — при-

бавил профессор с чувством самодовольствия. — Будемте добрыми соседями.

Он протянул руку студенту с непритворным радушием.

«Добрый человек», — подумал барон, невольно тронутый ласковым приемом.

— Знаете что: если вам не скучно с стариком, откушайте с нами.

По странному противоречию, молодой человек сперва обрадовался. «Я ее увижу, — подумал он, а потом присовокупил: — А уж не замышляет ли этот ходячий фолиант сблизить меня с своей дочерью, даже, чего доброго, женить на ней, считая на мое будущее наследство. Он, верно, знает, что я буду богат».

Но поистине профессор не знал о том ни полслова.

Он любил молодых людей и желал им быть полезным, где только мог. Студент принял приглашение, раскланялся и возвратился через час. Толстая служанка накрывала на стол. Профессор в длинном оливковом сюртуке и в белом батистовом галстуке бодро ходил по комнате, а у окна сидела его дочь и вязала чулок. При входе гостя она покраснела, при-

встала и присела довольно неловко. Профессор начал говорить о погоде в ученом отношении и пригласил садиться за стол.

Увы! Служанка принесла в миске кашу под названием офен-гриц[11] с молочной прихлебкой. Профессор принялся кушать с наслаждением, дочь его — с явным удовольствием; один барон прихлебывал с горестным чувством. Плохой обед, даже подле существа любимого — дело неприятное, когда есть хочется. Не оттого ли это, что любовь проходит, а аппетит — никогда.

После офен-грица подали кусок говядины, плавающий в масле, с полусырым картофелем; потом блинчики с творогом довершили обед, в продолжение которого не было разговора, кроме потчевания молоком, соусом и мелким сахаром.

— Ну, Шарлотта, — сказал вдруг профессор, — принеси-ка нам бутылочку в честь нашего молодого друга.

Шарлотта вышла и через минуту возвратилась с продолговатой бутылкой отличного рейнвейна, до которого ученый, как все ученые, был большой охотник.

Рейнвейн и сигары были его отдохновением, единственной его роскошью, для доставления которой дочь его, пятнадцатилетний ребенок, круглый год считала и берегла копейки, лишала себя всех прихотей, свойственных ее возрасту, носила все то же ситцевое платье по будням и белое по воскресеньям и торговалась упорно в цене жизненных припасов, но зато сигары выписывались из Гамбурга, а вино — от берегов Рейна, посредством одного ученого друга и великого знатока. Барон всего этого не понял.

За рюмкою вина, в особенности отечественного, немец оживляется, молодеет, рассказывает, и, как дитя тешится игрушкой, он тешится своей стариной. Два часа прошло незаметно. Профессор рассказал свои экзамены, свои труды, свои знакомства с учеными германскими друзьями, свою буйную молодость, свою немую любовь, свою женитьбу, свою тихую и трудолюбивую жизнь и заключил горячей слезой памяти незабвенной подруги.

Студент слушал со вниманием. Добрая сторона души его понимала, что было хорошего

В беспорывной жизни немца, и, по невольному переходу, останавливалась на безмятежном лице его дочери. В нем отражалось такое отсутствие суетных волнений, такое эпическое спокойствие, что бунтующая кровь мгновенно при ней утихала и мысли, увлеченные к земному, невольно воспаряли к высшему источнику. Одолеваемый двумя противными чувствами, барон не мог понять самого себя. Смотря на Шарлотту, он чувствовал, что должен бы ее любить.

Смотря на все окружавшее ее, он чувствовал, что он любить ее не мог. Без нее ему было грустно, при ней — досадно. Бывало, он заглядывался на ее темные очи, отуманенные густыми ресницами, и на крыльях воображения переносил ее в дивный мир фантазии, где все гармония, и поэзия, и счастье. И вдруг грустное напоминание жизни разрушало его мечты. Офен-гриц на столе, заплатка на платье, употребление щипцов над сальной свечкой, сожаление о дороговизне капусты обдавали его морозом. Каждый вечер он решительно намеревался не посещать более профессора, а на другой день он снова был уже у

соседей, пил рейнвейн, курил сигары и играл с Шарлоттой сонаты в четыре руки.

Прошло несколько месяцев. По ученому городку, по примеру прочих грешных городков, пошли сплетни и провозгласили, с дополнениями и комментариями, молодого барона женихом. Узнав о том, как водится, последний, он, как добрый малый и честный человек, душевно огорчился. Женитьба казалась ему далекою пристанью после долгого странствования, а он снаряжался еще только в путь. Несмотря на то, мысль, что другой может жениться на Шарлотте, была ему неприятна до чрезвычайности; но надо ему отдать справедливость: он поборол самого себя, быть может, оттого, что был еще молод и пылок для всего хорошего, что, к сожалению, изменяется с возрастом. Он вдруг прекратил свои посещения и для развлечения бросился в полное раздолье студентской жизни.

А студентская жизнь, друзья мои, эта вечно кипящая чаша, кого не рассеет и не утолит? Закутил молодой барон. Пригнул шапку набок, вооружился дубиной и пошел по комершам[12] и по фехтбоденам под руку с са-

мыми отчаянными буршами. Вскоре имя его, дотоле почти неизвестное, загремело на всех перекрестках; молодые фуксы стали смотреть на него с почтением, а городские девушки с явным любопытством. Но как он ни желал влюбиться и как ни легко это в его лета, он никак не мог совестливо исполнить своего желания. Та была хороша, да дочь булочника, другая казалась всем привлекательна, да он заметил однажды, что руки ее были недостаточно вымыты; одна была мала слишком, другая слишком велика; одна недовольно черноволоса, другая слишком белокура, словом, проходя по всей шеренге местных красавиц, душа его останавливалась с нежностью только на дочери профессора, но и ту, как мы видели, он мог любить только урывками, оскорбляясь ежеминутно жестокими столкновениями в шероховатостями прозаической жизни.

Что же происходило тогда в сердце молодой девушки? К чему это отгадывать? Она все жила по-прежнему тихо и однообразно, только тщательнее отворачивалась от барона, когда встречала его на улице, и дольше стала за-

сживатьаться по вечерам, оставаясь одна в своей комнатке. Барону казалось при редких ее встречах, что она на него сердится, и это было ему досадно.

«С какого права?» — думал он. Однако ему, вероятно, было бы еще досаднее, если б она не сердилась на него вовсе. Жизнь его катилась в шумном забытьи. Поутру он слушал рассеянно какую-нибудь лекцию, потом отправлялся на фехтбоден заниматься, по выражению Языкова, головоломным искусством [13], потом веселая ватага отправлялась обыкновенно на шульвагенах за город с вином и песнями и ликовала всю ночь с буйными восклицаниями.

Однажды университет праздновал день своего основания. Студенты с бутылками, привешенными к пуговицам сюртуков, отправились по партиям к загородным корчам. Барон, нарядившись также ходячим погребом, к явному удовольствию своих товарищей, вмешался в буйную толпу и не возвращался целый день. Напрасно дочь профессора украдкой поглядывала из-за занавески, ожидая с трепетом, что бедного ее соседа приве-

дут под руки на квартиру. Наступил вечер. Все окна мигом иллюминировались в честь торжества, под опасением неумолимого разбития. По всем направлениям города начали раздаваться веселые хоры, которые подвигались с факелами к зданию академии и провозглашали ей громогласный vivat.

Все городские обыватели стояли у ворот своих домов и с любопытством посматривали на буйную веселость академических именин. Крик, топот, песни не умолкали ни на минуту. К дому профессора прихлынула ватага полупьяных буршей.

— А знаете, — сказал хриплый голос, — он, старый хрыч... был неучтив вчера в коллегии. Право, неучтив. Право, ну... я шаркать начал... моя воля... Не правда ль, моя воля?.. Так. А он вдруг говорит, старый хрыч, чтоб я не мешал. Мешаю будто другим слушать. Ведь это грубость?

— Грубость, — сказали несколько голосов.

— Ну, так за чем же дело стало, pereat[14] ему!

— Pereat! — закричала толпа с такими ужасными воплями, что стены ближних до-

мов чуть не пошатнулись.

Профессор, сидя спокойно за своим письменным столиком, побледнел. «Уж не мне ли? — подумал он. — Нет, это, верно, моему ученому и бедному другу».

— Silentium[15], бурши! — закричал другой голос, — Грех вам и стыд обижать невинного старика!

— Что... что?..

— Притеснял ли он когда-нибудь кого? Был ли он когда врагом студентов? Не трудился ли он всю жизнь для вас? А вы вместо благодарности хотите отплатить проклятием. Стыдно, ребята!

— Фиренгейм прав! — сказал кто-то.

— У старика хорошенькая дочь, — заметил другой.

— Виват! — закричали все. — Vivat! Vivat! Vivat! Crescat, floreat in aeternum![16]

— Это, господин барон, тебе так не пройдет, — сказал сердито хриплый голос. — Я филистер. Со мной не угодно ли прогуляться в круглых шляпах?

— Хоть на пистолетах, — отвечал Фиренгейм.

— Ну, пожалуй, на пистолетах.

— Нет, — сказал кто-то из старейшин, — на шлегерах!.. Обиды кровной нет.

— Vivat! — кричала толпа. — Vivat! Vivat!

За окнами показались блуждающие огни. Потом одно окошко поспешно отворилось, показался профессор и смущенным голосом начал благодарить студентов.

Между ними воцарилось глубокое молчание. Профессор описал свою академическую жизнь, свое ученое стремление, свою любовь к студентам и заключил, что, доживая до преклонных лет, лучшей его отрадой была мысль, что труды его не совсем пропали для молодых его друзей. Между тем к толпе почтительно слушающих студентов прихлынули другие. По окончании речи виваты, как трескучий гром, начали перекатываться по воздуху. В одно мгновение факелы брошены в одну груды, и веселый огонь озарил палящими переливами радостный пир молодости и подгулявшей науки. Профессор выкатил весь свой погреб и тешился как дитя.

С сверкающими глазами он жал у всех руки, потчевал непьющих лучшими сигарами и

отдал весь рейнвейн свой до последней бутылки.

Через несколько дней Фиренгейма привезли без чувств домой. Грудь его была прорублена до самого плеча.

Когда он начал приходить в себя, в глазах его и в душе было еще темно и туманно; но в неясном тумане обозначались едва заметно нежные черты, и двое влажных очей, как отуманенные звезды, казалось, притягивали его к жизни. Мало-помалу странное видение между существенностью и сном стало определеннее: черты обозначились яснее. Так это она точно, она, дочь профессора, которая с трепетным волнением стояла у изголовья раненого.

— Очнулся! — сказала она шепотом и покраснела до ушей. — Теперь я не должна здесь оставаться.

Бедная Шарлотта вздохнула.

Отец ее, стоявший за ней, посмотрел на раненого опытным взглядом знатока.

— Какой славный удар! — сказал он. — Какая ужасная винкелькварта! Бедный мой друг, если вам захочется супу, то пришлите ко

мне.

Барон пролежал три месяца на кровати, и хотя соседка его не осмеливалась к нему войти, но везде была заметна ее нежная заботливость. Легкие кушанья, чистое белье, увеселительные книги, цветы, игрушки, все мелкие наслаждения, неизвестные холостой беспечности, присылались ежечасно от имени профессора и утешали раненого студента. Шарлотта была его невидимым провидением, и он невольно стал переносить к ее образу все нежные мечты своих продолжительных бессонниц. А она до того привыкла к своему попечительству, до того обрадовалась возможности приписать состраданию неясную наклонность своего сердца, что когда Фиренгейм оправился и пришел благодарить своих соседей, она почувствовала, что ей чего-то недоставало.

Утомленный студентским разгулом; молодой барон, к явной радости старика профессора, сел за книги и начал заниматься. Строгое прилежание и долгая болезнь скоро выгнали у него из головы его баронскую дурь. Он удостоверился, что подробности существенной

жизни значительны и первостатейны только для малодушных людей, а что душевные со-
вершенства лучше приятных форм. Забыв
глупые предубеждения, он сблизился с про-
фессором, полюбил его искренно, как отца, а
к дочери его привык, как к сестре. Жизнь их
была без особых событий и потому не могла
раздуть пламени страсти; но они были сотво-
рены друг для друга, и этого-то они не могли
не понимать. С ней он занимался музыкой в
часы отдохновения и с ней читал любимых
поэтов; она любила Шиллера, он предпочитал
Гете, и от этого разногласия нередко воз-
никали довольно горячие споры, точь-в-точь
как будто между детьми. Привычка их срод-
нила; но странно было, что, когда она была
весела, он сердился; когда он начинал шу-
тить, ей становилось грустно; но что когда
они изредка соединялись в одном чувстве, то
их сердцу было невыразимо весело и легко, а
глазам хотелось плакать. Барон и этого не по-
нял. Только каждый день, по неодолимому
влечению, ходил он к соседям, глядел на Шар-
лотту, а потом возвращался домой и садился
бодро за книги. Это время было самое счаст-

ливое в его жизни, и, быть может, оно исправило бы совсем его характер, если б новое обстоятельство опять всего не изменило.

Вдруг получил он известие об ожидаемом богатом наследстве. Он делался владельцем майората[17]. Присутствие его на месте было необходимо, академическая жизнь его оканчивалась.

Богатство, богатство! Рычаг нашего просвещения, нашей гражданской деятельности, нашего семейного счастья, нашей безрассудной жизни, если ты в ведении какого-нибудь демона, то много у этого демона и грехов и дурных мыслей на душе.

Барон начал укладываться уже с чувством холодного эгоизма. Отдаленный звук денег приятно отдавался в его слухе; мысль об отличиях и почестях заманчиво ему вторила. Он в два дня собрался к совершенному отъезду и простился со всеми своими знакомыми. Когда он объявил профессору о перемене своей судьбы и, прощаясь, благодарил его, старик был тронут; быть может, он не думал, что им надобно будет когда-нибудь расстаться. Шарлотты не было дома. Барон просил ей покло-

ниться и сказал, что он вечно будет ее помнить. Она, казалось, умышленно избегала встречи и последнего разговора.

В немецких университетах есть трогательное обыкновение: когда студент отходит от своей братии на шумное поприще гражданской жизни, когда он навек прощается с своим студентским бытом, товарищи провожают его толпой через весь город медленным шагом и грустным хором поют ему во время шествия прощальную песнь.

В этой песне отзывается что-то похоронное, что-то сжимающее сердце, как стук земли, бросаемой в отверстую могилу. И точно, отходящий брат не хоронит ли своей молодости, своей юношеской беспечности, своей лучшей поэзии?.. Наступил день отъезда молодого барона. Так как его вообще любили, то с самого утра на главной площади, откуда должна была начаться процессия, стали сбираться студенты со всех сторон. Потом и отъезжающий, в последний раз одетый совершенным студентом, с пестрой шапкой на голове, явился в кругу своих товарищей. Двое из старейшин взяли его под руки и открыли

шествие. Густая толпа двинулась за ними вслед, и плавное пение зазвучало по улицам грустными аккордами. Барон шел тихо... Много мыслей, много чувств теснилось в голове его. Из всех домов кланялись ему знакомые лица: трактирщик, который играл на контрабасе; педель, который призывал его к ректору; лавочник, который верил ему в долг; помещик, у которого он обедал, дамы, с которыми он танцевал, — все ему кланялись, все посылали рукой последнее приветствие, искреннее, добродушное желание успехов и счастья. И вдруг он поднял голову. Они подходили к дому профессора.

У окна стояла девушка в белом платье, как бы принарядившись для печальной церемонии. На щеках ее не было привычного румянца; руки ее, как бы лишенные жизни, опускались вдоль гибкого стана. Студент печально ей поклонился, но она не отвечала на поклон. Смертная бледность покрывала чело ее; глаза неподвижно вперялись в толпу, как бы желая остановить ее каким-нибудь чудом, и слезы градом катились без принуждения по ее безжизненному лицу.

Чувства едкой жалости и позднего откровения молнией пронзили сердце бывшего студента. «Она любила меня», — подумал он и опустил голову. И толпа хлынула далее, и долго слышно еще было по улицам, как терялась вдали прощальная песнь и замерла, наконец, за городской заставой.

Кто-то сказал презабавную глупость: немец до двадцати пяти лет Адам Адамович, от двадцати пяти лет — Иван Иванович. В этой глупости, как во многих глупостях, глубокое знание человеческого сердца. Если немец, например, кутил до двадцати пяти лет, то он запыет последнюю минуту своего двадцать четвертого года мертвейшею чашею, а на другой день начнет пить одну лишь воду до самого часа своей смерти; вчера был отчаянным шалуном, завтра будет самым степенным из степенных людей; вчера был разгульным, беззаботным буршем, сорил деньги где мог, завтра будет расчетливым немцем, извлекающим из всего выгоду; одним словом, немецкие страсти распределены по срокам, как неизбежная плата за жизненную квартиру, и каждая вносится своевременно, без задержания или избытка.

Более всего разительна эта противоположность германского характера в минуту окончания студентской жизни. У меня был один товарищ до того отчаянный, что все тело его

было изрублено, шапка прострелена; платье свое он проиграл в банк, а выпивал он столько, что содержателю погреба становилось страшно, В день отъезда он напроказил до того, что волосы становились дыбом; но при последнем стакане вина он заливался горькими слезами и сказал три слова: «Прощай, золотая молодость! — Lebe wohl, goldene Jugend!» На другой день он был мирным пастором, учился благословлять, готовил проповеди и вспоминал о своей студентской жизни с тихой улыбкой, как будто бы прошедшие несколько часов были целыми годами.

Почти то же самое случилось с Фиренгеймом. Восторженный студент вдруг сделался расчетливым дипломатом. Он решил жить в Петербурге и рассудил, что для удовлетворения своего тщеславия и честолюбия ему открыты две дороги: служба и большой свет; причем он и не подумал обманывать себя призраками пользы, обязанности или призвания. Он убедился, что отверстое поприще выгодно, а большего и не думал искать.

Мы часто укоряем немцев за то, что на святой Руси они всегда добиваются теплого ме-

стечка и достигают именно того, к чему мы стремимся. Но не сами ли мы в том виноваты? Они упорствуют, а мы пренебрегаем; они трудятся неусыпно и без усталости, а мы готовы истратить весь свой пламень на один порыв и пролениваться потом всю жизнь. Что же удивительного, коль на пути гражданской жизни они перебивают нам дорогу и занимают у нас под глазами места и должности, которые бы нам весьма по сердцу?

Барон выбрал самую выгодную службу, самый выгодный разряд: отказался от жалованья в пользу повышения, подружился с начальником отделения, полюбился директору и понравился министру. Он как будто родился в вицмундире, в стенах канцелярии, за столом столоначальника. Он был вежлив с казначеем, бухгалтером и журналистом; он дарил щедро швейцара, сторожей и курьеров; одним словом, хотя он многого и не делал, но в скором времени сумел прослыть образцовым чиновником.

В свете он следовал той же тактике; только ручевский фрак[18] и желтые перчатки заменяли вицмундир. Он начал, как следовало, со

старух: слушал их с почитательностью и явным вниманием, надевал на них мантильи и салопы, аккуратно делал им визиты, привозил подарки в день именин, играл с ними в карты и часто проигрывал... Разумеется, подарки и проигрыши соразмерялись со степенью важности старых покровительниц; потом барон обратился к модным красавицам. Сказать правду, они не много ему нравились, но он почел обязанностью казаться с ними в дружеских отношениях, чтоб упрочить свою светскую славу. Он разваливался подле них в мягких креслах, наклонялся к ним на ухо и говорил всякий мелкий вздор вполголоса. Они непременно начинали смеяться, хотя иногда то, что говорил барон, было вовсе не смешно; но так как одна из них рассмеялась, то и всем надо было смеяться, так, как всем надо было носить короткие рукава, гладкие прически и бархатные бурнусы. Поутру начинали посылаться к молодому барону разные душистые записочки с приглашениями и концертными билетами. Наконец, он не только танцевал всегда с признанными светом модными красавицами, но его самого начали

модные дамы выбирать поминутно, в танцах во время фигур, потому что он танцевал отлично и принадлежал ко двору. С того времени положение его в большом свете резко обозначилось и ему наперерыв стали завидовать провинциалы, начинающие, боязливые, бедные и уродливые, которые для оттенков картины дополняют петербургские бальные залы. С мужчинами он был учтив, но не искателен; он только соразмерял свою учтивость и поклоны с уменьшением нумера класса и с увеличением знаков отличия, так что Анне с короной он кланялся с развязной улыбкой, а Андрею Первозванному — с чувством глубокого почтения. Но это было не по низкопоклонности его характера, а в силу того внутреннего убеждения, что он исполняет обязанность и воздает каждому должное. В несколько лет он сделался совершенным светским человеком, с жаждой к рассеянию, с ненавистью к занятиям и с холодным расчетом для своих выгод и повышения. При таких обстоятельствах его послали по казенному поручению в уездный город, описанием которого я начал свой рассказ.

Что же было в продолжение того времени с дочерью профессора?

Прекрасная моя читательница, вы, верно, по природной вашей догадливости узнали в аптекарше ту самую Шарлотту, которая так безнадежно любила моего барона. Но как перешла она от мирного отцовского крова в аптеку уездного городка, как, думая о бароне, могла она выйти за аптекаря? Как... Каким образом? Нехорошо, не правда ли?.. А позвольте у вас, сударыня, спросить: господин ваш супруг был ли единственным предметом ваших помышлений? Неужели до блаженной минуты, когда он повел вас к венцу, пред вами не мелькнули никакие заветные черты и никакое мужественное лицо не оставило в вашем сердце своего неизгладимого портрета? Вспомните хорошенько. Не хотели ли вы когда-нибудь оставаться век в девушках или, чего доброго, в монастырь идти? И что же? Поплакали об одном, улыбнулись другому. Пришла надобность в самопожертвовании — жертва совершилась, и слава богу, выживаете здорово и благополучно, хоть вы и разоблачили ваш надоблачный идеал в халат и

туфли полузаспанного мужа. Дело в том, что мы любим укорять других, чтоб извинить себя; а быть может, то, что в нас нехорошо, в других извинительно.

Когда Шарлотта, как истая германская девушка, носилась мечтой в идеальном тумане, небольшой студентик с кудрявой рыжей головой аккуратно проходил и вздыхал два раза в день под ее окном. Фиренгейм давно уехал. О нем слышно было, что он веселится в большом свете, волочитя, влюбляется, ищет невесты, а над прежней жизнью смеется весьма остро. Половина того была истинна, другая, как водится, прибавлена. Бедная Шарлотта сперва поплакала, потом посердилась, потом и сердиться перестала и вся обратилась в любовь к своему отцу. Любящие души, однажды обманутые, не уничтожают, но переносят только избыток своего небесного огня к лицу более достойному. Дочь профессора старалась забыть себя совершенно и только и думала о том, как бы чем угодить дряхлеющему старику и усладить последние минуты его жизни; а пока небольшой студентик с кудрявой рыжей головой все ходил да ходил под ее окном с та-

кой настойчивостью, что она наконец привыкла к его физиономии, как к чему-то неизбежному. Есть люди, смиренные свойством, которые умеют выждать и тем одним всегда достигают своей цели.

Когда пришло время, студентик втерся в дом профессора, начал знакомство на латинском языке, выпил рюмку рейнвейна и выкурил две сигары. Старик чрезвычайно любил нового друга, хотя и вздохнул невольно о старом, закутившем в петербургском большом свете.

С того дня студентик начал ходить чаще и чаще, а Шарлотта, не обращая на него большого внимания, начала привыкать к его разговорам, как привыкла к его появлениям под окнами. Вскоре он переехал на квартиру Фиренгейма, но Шарлотте не говорил ни о любви, ни о надежде, ни о поэзии, опасаясь повредить своим намерениям, а неприметно стал входить в ее хозяйские распоряжения, советовал ей употреблять для приправы кушаний разные аптекарские травы, настаивал с ней настойки и покупал для нее капусту и грибы. Мало-помалу он сделался в доме необ-

ходимым человеком, а время быстрыми шагами все двигалось вперед, неся на плечах беды, бедствия и смерть. Профессор начал ослабевать. Книги осиротели, сигары заброшены, рейнвейн забыт. Не долго он был болен и встретил кончину, как следовало мужу мудрому, прошедшему всю жизнь для блага и науки. Студентик ходил за ним как сын, сам готовил лекарства, сам их подавал, и перед смертью старик благословил его зятем и вручил ему свою бездыханную дочь.

Удар, постигший Шарлотту, был до того жесток и поразителен, что она равнодушно узнала о перемене своей судьбы. Жених ее не докучал ей неуместной страстью, а начал распорядиться в доме хозяйством и готовил все для свадьбы. Таким образом Франц Иванович достиг своей цели.

Вскоре совершился и брак, грустный, холодный, как приношение жертвы над свежей могилой. Во время обряда Франц Иванович казался тронут, но не надоел жене клятвами и уверениями. Он думал об устройстве вещественного благосостояния. Он уже кончил курс, выдержал экзамен на звание фармацев-

та и, по долгом соображении, решился ехать nach Russland[19] наживать деньги. Узнав, что в городе С. не было аптеки, он положил поселиться в нем с молодой женою, надеясь на дешевизну содержания и потребность края в медикаментах. Всего достояния его вместе с скудным наследством профессора едва было достаточно на фармацевтическое обзаведение с стклянками, банками и весами в старинном доме, где некогда танцевали дворяне, а что ныне украсился вывеской с известной вам надписью:

«Аптека, Apotheke».

Бедная Шарлотта! Какая жизнь! Какое разочарование! Все та же бедность, но уж без поэзии; все те же заботы, но без утешения; все то же душевное одиночество, но уж без надежды!.. И некому поверить своей грусти, не с кем поговорить о старине. Франц Иванович, по недостатку средств не имевший провизора, сам с утра до ночи катал пилюли, сушил травы и составлял микстуры. Впрочем, всегда довольный, всегда с улыбочкой, он потряхивал рыжей головкой, думая веселостью своею

развеселить, может быть, и свою жену. И надо ему отдать справедливость: он не надоедал ей знаками приторной привязанности, не требовал от нее ложной нежности, а довольствовался тем, что подавал ей нехвастливый пример покорности и терпения. Она радовалась, что он ее не понимает, и бережливо таила от него свои воспоминания и свою печаль. Знакомств у них было немного, и от тех можно было бы охотно отказаться.

Городничий, обожатель полек, да толстая барыня Авдотья Петровна Кривогорская, обожательница сплетней и собачек, делали им изредка дальновидные визиты, надеясь получить подешевле или даже в подарок нужные для домашнего обихода аптекарские припасы.

Всех чаще по утрам заходил к ним от нечего делать отставной помещик в венгерке. Поздоровавшись с Францем Ивановичем, он отправлялся к аптекарше с обыкновенным приветствием:

— Бонжур, мадам. Здоровье ваше гут?

— Gut[20], - отвечала, вздыхая, Шарлотта.

— А нельзя ли, мадам, трубочку? Смерть

затянуться хочется. — При этом слове он красноречиво влагал первый палец в уста.

Ему приносили трубочку... и он начинал дымиться как камин, объявляя притом городские новости.

У купца Ворышева получены новые селетки; только дорого, мошенник, просит. Вчерашний день толстая купчиха Трегубова, шедши в гостиный двор, провалилась на дощатом тротуаре; насилу вытащили. Говорят, хочет подавать просьбу губернатору на городничего за то, что тротуары никогда не исправляют, отчего легко может приключиться смертельный случай. Намедни был праздник у исправника, и Терентий Иваныч, говорят, мастерски отхватывал вприсядку. У часового мастера пропала корова. В бричке поверенного по откупу лопнула рессора...

Потом он начинал любезничать.

— Когда же вы, Шарлотта Карловна, выучитесь говорить по-русски? Скажите-ка, был — «пыль...» Хи-хи! Как вы этого не умеете, а, кажется, так просто. Пора вам выучиться; или уж я стану учиться по-немецки, а то только и знаю что гут да либ данкен.

Шарлотта грустно улыбалась, а франт, поставив трубку в угол, уходил в сладком самодовольствии. «Хоть бы в столицу, — думал он, — право, хоть бы в столицу, и там скажут, что хорошенькая, а не только в провинции».

И Шарлотта оставалась одна, целый день одна. Как долго сиживала она у своего окошка и в тихом раздумье смотрела на серые тучи, которые неслись грустной вереницей по небу, не предвещая бури, не обещая солнца, а холодные, печальные, свинцовые, как жизнь, которая ее убивала. И что за зрелище под окном? Лужи с утками, грязная зелень, бабы с тряпьем, тарантас с заседателем, домики с разбитыми стеклами, заклеенными бумагой. Все, что в гражданственной жизни есть отвратительного, все, что в человечестве есть жалкого, все, как нарочно, соединялось, чтоб отравить лучшие годы ее жизни.

И к тому же воображение ее в одиночестве разыгралось. Прежние ее мечты определились ясно; призрак любви, но любви мучительной, страстной, бурно волнующей кровь, загорелся пылающей звездой во мгле ее одиночества. Ей хотелось бы убежать на край

света и отдать всю жизнь свою за одно неистовое мгновение любви и блаженства.

И к довершению злополучия она не могла ненавидеть, презирать своего мужа. Он, правда, не понимал ее, но он был добрый и честный человек и старался так усердно облегчить для нее бремя домашних хлопот и так неусыпно трудился в своих бедных оборотах, чтоб упрочить для нее в будущем времени сомнительное благосостояние.

Так прошло два года до того утра, когда барон Фиренгейм явился в аптеку за содовыми порошками.

IV

— Давно мы с вами не видались, господин барон, — сказала аптекарша.

— Давно, к искреннему моему сожалению, — отвечал петербургский щеголь, — и, право, я не думал, что поездка, которую я так от чистого сердца проклинал, сделается для меня источником большой радости...

— Какой радости, господин барон?

— Счастья, хотел я сказать, неописанного счастья встретить вас снова, встретить ту, которая так много значила в моей молодости.

Барон остановился и с недоверчивостью взглянул на аптекаря.

Франц Иванович учтиво поклонился, не поняв, вероятно, замысловатых слов барона.

— Не угодно ли вам в гостиную? Она убрана некрасиво, да в ней живут добрые люди; а мне позвольте отправить этих мальчишек по принадлежности.

С трепетом вошел барон в комнату молодой женщины. Воспоминания, одно за одним, толпились в голове его: домик профессора, тихие вечерние беседы и неясное видение,

осенившее некогда изголовье его страдальческого ложа, живо и ясно нарисовались в его пробужденной душе. Но перед ним стояла уж не худенькая девочка в коленкоровой шляпке, с робкой поступью и боязливым взглядом, а прекрасная, развившаяся женщина в полной зрелости красоты. Быть может, в ней утратилось немного то выражение чистого спокойствия, которое, бывало, хранило ее, как святыня; но зато в ее чертах и взорах разлилась какая-то неясная нега, что-то измученное и страстное, придающее ей новую, опасную прелесть.

Убранство комнатки было действительно самое незавидное. Несколько простых стульев, диван между двумя печками, стол с истертым сукном да маленькое фортепьяно у окна, заставленного бальзаминами, располагались чинно в симметрическом отдалении друг от друга; а в углу, под стеклом поставца, красовалось с дюжину фарфоровых чашек и несколько серебряных ложек, развешанных по всем правилам немецкой аккуратности и мещанского щегольства. Эта нищенская роскошь грустно поразила молодого человека и

перенесла невольно мыслью в штофные покои петербургских барынь.

Впрочем, чувство это было только минутное. Чем более он жил, тем более привыкал и становился равнодушен к декорациям жизни.

— Думал ли я встретить вас здесь? — сказал он тихо.

Аптекарьша вздохнула.

— И встретить вас... замужем?

Взгляд, исполненный бессильной укоризны, был ответом на грустное напоминание.

— Батюшка ваш здоров?

— Батюшка мой умер.

Барон повесил голову. Он и не знал даже об этом.

Ему стало грустно, но он вдруг рассеялся самым заманчивым, самым светским и порочным рассуждением: «Отец умер. Она его более не боится. Муж колпак; его провести нетрудно. Она любила меня; а здесь, в этом захолустье, соперников, я думаю, немного... По крайней мере мне будет занятие».

— Вам скучно здесь? — сказал он голосом нежного сострадания.

— Да, — продолжала аптекарьша со слезами

на глазах. — Батюшка мой умер, умер и оставил меня сиротой. Бедный мой батюшка! Он часто о вас говаривал; с того времени жизнь моя разорвалась надвое; я на все начала глядеть другими глазами, и, право, я не знаю, как бы я могла прожить одну минуту, если б мне не оставалось воспоминания...

«Так и есть, — подумал барон, — это намек. Ей скучно, следовательно она на все готова... И я буду настоящим школьником, если не сумею воспользоваться случаем».

— Отчего же вы вышли замуж? — спросил он.

— Я вышла замуж потому, что моему покойному отцу это было угодно. Он думал, мой добрый отец, что я буду счастлива с человеком, который будет меня любить и наверно никогда не обманет.

«Это что-то похожее на упрек, — заметил снова про себя барон. — Я не ошибся: она все еще меня любит, и как хороша она к тому! Право, наши светские красавицы не стоят ее мизинца; а как подумаешь, сколько за их пустые разговоры я истратил безвозвратно времени, забот и денег!...»

— Не всякий волен в своей судьбе, — продолжал он вслух с глубоким вздохом. — Ваш муж счастливый человек: ничто не противилось его благополучию — ни родственники, ни обстоятельства, ни даже вы сами, потому что вы, вероятно, его любили.

Аптекарьша грустно улыбнулась.

— Муж мой добрый человек, — сказала она, — он искренно по-своему ко мне привязан, и я была бы неблагодарна, если б не умела ценить его достоинств.

«Ну! Тактика обыкновенная. Надо же выдумать какие-нибудь препятствия, трагические угрызения совести и т. и... чтоб потом всем пожертвовать, и требовать благодарности, и иметь чем попрекнуть».

Волнуемый такой лукавой мыслью, барон продолжал:

— Ваш муж счастливый человек: он всегда с вами, всегда подле вас. Ему позволено называть вас нежными именами, прижимать вас к груди своей и забывать все на свете, чтоб надыхаться вашей речью и заглядеться вашей красотой.

Аптекарьша была, очевидно, взволнована.

В это время вошел в комнату аптекарь.

— Что за город! — сказал он с досадою. — Просто жить нельзя. Один торгуется, другой в долг просит. Вообразите: у меня по книге рубль, а мне дают полтину, да нельзя ли еще пообождать до праздника. Слуга покорный! Как будто нам тоже пить-есть не надобно. Проклятый город!

— Да зачем вам оставаться здесь? — спросил барон. — Мне кажется, вам всего бы лучше переехать в какую-нибудь столицу, в Петербург например.

— Да-с, оно бы хорошо, только жить там дорого женатому человеку. Вот если б место...

— Что ж, похлопотать можно.

— Помилуйте, к чему вам беспокоиться? Ваше время должно быть дорого. Вы человек светский, где в вашем кругу вспомнить о бедном аптекаре!

— Позвольте-с, вы несправедливы. Я всегда готов стараться за своих друзей.

— Благодарю вас за название.

— Надеюсь его заслужить.

— А покуда, господин барон, вам должно быть у нас скучно.

— О нет! Напротив.

— Полноте, вы, светские люди, вечно с учтивостями. Мы вам особенных развлечений предложить не можем. Театров у нас нет, о балах не слыхивали, а есть стакан чаю, тарелка супу, бутылка пива — все это к вашим услугам.

— И я непременно всем воспользуюсь.

— Ну, так не пожалуете ли вы к нам в среду откусать? Я думаю, вам в первый раз в жизни придется обедать в аптеке?

— С большим удовольствием.

— За стол не взыщите. Предлагаемое не хитро изготовлено, но предлагается от доброго сердца — не так ли, Шарлотта Карловна?

Шарлотта кивнула молча головой.

— Смотри же, Шарлотта Карловна, подумай, как бы угостить гостя, чтоб он и вперед пожаловал.

Аптекарьша покраснела и отвернулась.

— Вы в котором часу обедаете? — спросил барон.

— Обыкновенно в двенадцать часов. Но так как вы человек столичный, то мы будем обедать ровно в час. Кажется, это довольно

поздно?

— Очень довольно.

Барон ушел домой. Аптекарьша не выходила у него из головы. Он вспомнил поочередно все читанные им соблазнительные романы и решился действовать с неумолимым расчетом опытного обольстителя.

Наступила середя. Барон, насилу дождавшись первого часа, надел пестрый жилет, пестрый галстух, затянулся в парижский сюртучок и отправился, попрыгивая по грязным тропинкам, к жилищу аптекаря. У дверей встретил его хозяин, дружески пожал ему руку и ввел в комнату, где он был накануне. В поставце серебряных ложек уже не было, все было выметено и прибрано начистоту, а посреди комнаты поставлен был стол с четырьмя приборами. В углу сидел помещик в венгерке и курил трубку в ожидании обеда.

— А супруга ваша? — спросил барон у аптекаря.

— Жена моя в кухне, стряпает. У нас ведь нет повара: мы люди небогатые.

Барону стало нестерпимо досадно, что она, которую он собирался любить, хлопотала око-

ло кастрюль и, чего доброго, старалась, выходила из сил, чтоб получше изжарить курицу и тем угодить нежному предмету прежней страсти.

— А! Мое почтение, — сказал помещик голосом старинного знакомого. — Каково у нас уживаетесь?

— Очень хорошо-с.

— Каким вы всегда щеголем. Жилетка в Питере, что ли, шита?

— Нет-с, в Париже.

— В Париже!.. Ах, позвольте взглянуть; чай не дешево стоит.

— Не помню.

— Уж эти петербургские щеголи чего не придумают! А нечего сказать, мастера одеваться.

В эту минуту вошла аптекарша. На ней было белое платье. Два локона, задернутые за уши, висели до плеч, а вокруг головы обви- вался черный шелковый снурок, перехвачен- ный золотым бисером. Снурок этот, неизбеж- ное украшение всякой бедной немки, снова раздосадовал барона. Он сухо поклонился и начал говорить о погоде.

Между тем принесли на стол миску, и гости уселись по местам. Крышка мигом слетела, и в миске обнаружился не суп с картофелем, не щи с капустой, а старый знакомый, товарищ молодости, офен-гриц молочный, тот самый, который во время оно по средам и субботам наводил уныние на целый университет. Барон взглянул на Шарлотту; она улыбнулась и покраснела. Есть женщины, которые в самые обыкновенные подробности жизни умеют, когда сердце их задето, отделять немного от поэзии своей души. Барон понял, сколько было скрытого значения в простом блюде, и, быть может, в первый раз в жизни не обратил внимания на прочие подробности стола. Разговор был оживлен. Говорили о Петербурге и о перемещении аптеки. Франц Иванович сокрушался о столичной дороговизне, к чему помещик красноречиво присовокупил, что петербургская жизнь в особенности кусается. Перед окончанием обеда аптекарь с значительною миною вышел в соседнюю комнату и возвратился с бутылкой шампанского, первой употребленной в аптеке со дня ее основания.

Решившись на такую роскошь, он вполне хотел употчевать гостей. Вино было теплое и странного вкуса, но наружность бутылки и пенистое шипенье были самые приличные.

— Здоровье нашего гостя! — возгласил Франц Иванович. — Сто лет жизни!

— И генеральский чин, — прибавил франт.

— И много счастья, — добавила аптекарша.

— Noch![21] — закричал развеселившийся аптекарь. — Еще по рюмочке!..

Когда бутылка опорожнилась, хозяева и гости встали из-за стола. Был четвертый час. Мужчины вооружились сигарами и трубками. Два часа протянулись еще в отрывистом разговоре. Аптекарь о чем-то думал, вероятно о перемещении своей аптеки; барон нетерпеливо поглядывал на часы. Шарлотта, с ярким румянцем на лице, казалась взволнована. Один ех-помещик только беспечно затягивался и рассматривал потолок. Наконец он вспомнил, что пора идти к почтмейстеру, встал, раскланялся и вышел. За ним Франц Иванович отправился по своим делам. Аптекарша и Фиренгейм остались вдвоем.

На дворе по случаю поздней осени начинало уже смеркаться.

Оба молчали, оба сидели в немом смущении. Проклятая робость вкралась в сердце светского щеголя и туманила его коварные предприятия. Он думал, думал, находил себя и жалким и смешным и вдруг, собравшись с духом, начал разговор:

— Не хотите ли сыграть что-нибудь?

— В четыре руки?

— Да, в четыре руки.

— Я так мало играю...

— И, помилуйте! Вы разве не помните, что мы уж игравали прежде?

— Помню...

— Так не угодно ли?..

— Извольте.

Они сели рядом у фортепьяно.

— Что ж мы будем играть? — спросила аптекарьша.

— Что угодно...

— Мне все равно.

— И мне все равно...

— Вот какие-то ноты... Хотите попробовать?

— Извольте.

— Вы будете играть бас.

— Да, как прежде... как в старину...

Аптекарьша вздохнула...

— Извините, если я буду ошибаться.

— Не взыщите, если я ошибусь.

Они начали играть, только нестерпимо дурно: то он опаздывал, то она торопилась. В комнате становилось темнее и темнее.

— Признайтесь, — сказал барон шепотом, — вы на меня сердитесь?

— Зачем сердиться?.. Бог вас простит... У меня тут не то, кажется, написано...

— Нет, — продолжал барон, — нет, дайте мне выслушать выражение вашего гнева, быть может я и оправдаюсь.

— Ах! Извините, я кажется, не ту строку играю.

— А мне так больно, что вы на меня досаждаете.

— На что вам... переверните страницу.

— Мне так дорого ваше участие, оно мне так нужно. Я так несчастлив...

— Вы несчастливы!..

Они перестали играть.



— Да, Шарлотта, — извините, что я вас называю прежним именем, — я истинно несчастлив. Свет, в котором я живу, сжимает душу, от него веет морозом. Мне негде отдохнуть сердцем. Среди людей я всегда один, никого не удостоиваю своей привязанностью и не верю ни в чье участие.

— Бедный! — сказала аптекарша.

Барон приободрился.

— Но знаете ли, Шарлотта, какое утешение я сохранил с любовью; знаете ли, каким теплым чувством я согреваюсь в ледяной атмосфере большого света? Знаете ли?..

Аптекарша не отвечала. Грудь ее сильно волновалась.

— Да, Шарлотта, воспоминания о прошлой жизни, воспоминание о вас — вот теперь мое лучшее сокровище. Как часто, утомленный от бессмысленных мелочей кочеванья по гостиным, я переносусь в тот мирный уголок, где я жил с вами, жил подле вас, и снова я вижу ваше окошечко, вижу тень вашу за белой занавеской. Воображение заменяет действительность. Я счастлив своей мечтой, и сердце мое снова бьется от радости и от любви.

— Ах! — сказала аптекарша. — А мне какво? Мне здесь все дико и неприятно. Нет здесь моих подруг... Отец мой умер... Я сама живу памятью, а в настоящем мне грустно и тяжело.

— Так, бедная Шарлотта, я в том был уверен. Вы тоже несчастливы. Вас здесь никто не

оценить, ни понять не может. А я знаю, ваша душа создана для чувства, для сочувствия, для всех радостей и мучений сердца.

— Не говорите мне этого...

— Но это правда.

— Да, печальная правда. Я долго ждала счастья... Я видела его даже издали, но оно промелькнуло только для меня и бросило мне лишь сожаление, одиночество.

— Нет, — прервал барон, — судьба бессильна против любви. Мы были бы счастливы вместе... Ваши глаза мне это говорят. Кто же мешает нам быть счастливыми?

— А как?..

— А разве нельзя возвыситься над жалкими условиями жизни? Разве мы не можем любить друг друга и в высоком упоении найти возмездие за все свои страдания?..

— А люди?

— Люди! Что в них? Любовь не целая ли вселенная? Как ничтожно перед ней все земное, и как возвышается, как освящается душа, исполненная любовью!

Барон схватил руку аптекарши; рука ее дрожала.

— А долг? — сказала она задышающимся голосом.

— Долг выдуман человеческими расчетами. Долг — условие земли, а для нас отверзло небо. Вы видите, не пустой же случай свел нас снова вместе; мы рождены друг для друга. Неужели вы этого не понимаете? А я уже по силе любви своей отгадываю, что и вы должны меня любить...

— И не ошибаетесь, — сказала аптекарша, закрыв лицо руками.

Ощущение неопisanного блаженства освежило душу барона. В комнате было совершенно темно.

— О! Теперь, — сказал он, — я готов умереть для вас; теперь счастье для нас возможно. Но повторите ваши слова, скажите мне: давно ли и как вы меня любите?..

— Да... я все скажу... я не в силах более молчать, — сказала трепетно аптекарша, — да, я всегда думала о вас... да, я не переставала вас...

В эту минуту дверь настежь отворилась, и толстая служанка, босиком, в затрапезном платье, вошла в комнату, держа в руках два

медных шандала с сальными свечами. Рука аптекарши выпала из руки барона. На молодого человека неприятно подействовали сальные свечи и нищенский наряд служанки; но для увлеченной женщины блеск внесенного огня был благодетельным светильником и озарил ей мрачную пучину, в которую ввергла ее безумная страсть.

— Нет... нет, жена, — сказала она дрожащим голосом, — должна быть чиста и непорочна. Обольщение чувств обманчиво, а раскаяние неумолимо... Заклинаю вас всем, что вы любите, не возобновлять нынешнего разговора.

В дверях показался Франц Иванович.

— Теперь я свободен, — сказал он, потряхивая головкой. — Я боюсь, что вам было скучно. Не хотите ли пуншику или бостончик составить?

Но расстроенный барон не хотел слушать никаких предложений. Обманутый в ожидании, забыв свои планы, он побежал домой и всю ночь проворочался на кровати. К утру он, коварный светский щеголь, был влюблен в уездную аптекаршу, но влюблен по уши, и без

ума и без надежды.

А между тем городские обыватели начали толковать да перетолковывать.

— Знаете что, — говорил франт в венгерке на ухо купцу Ворышеву, посещая его в лавке, — Шарлотта-то Карловна наша... гм...

— Быть не может!

— Да и мне кажется странно. Так скажите, пожалуйста, с какой стати барону сиднем сидеть в аптеке? Ведь он надворный советник, к тому же человек с капиталом, даже богатый. А вещи какие у него — просто загляденье! Намедни я еще видел одно изумрудное кольцо, кольцо-то, знаете, маленькое, а изумруд большой — славная штука! Сот пять стоит. Да и в столице, я спрашивал, знаком ли он с министрами, так говорит, что не со всеми, а знаком... Ведь в аптеку хорошо ходить нашему брату время убить, а такому человеку, кажется, вовсе не черед. Странное дело!

— Совершенная правда-с, — сказал Ворышев и погладил бороду.

— Слышали, — говорил с лукавой улыбкой судья городничему, — слышали, какую наш

Франц Иванович получил обнову?

— Да-с, слышал стороной.

— Какая тут сторона, дело явное. Они открыто живут вместе. Неприлично, совершенно неприлично... Я бы на вашем месте в это дело вмешался. Начальство обязано, как попечительная мать, вникать в нравственные отношения жителей и указывать на то, чего они должны остерегаться. Ваша обязанность...

— Гм, вы думаете?

— Без сомнения. Вы хранитель городской нравственности.

— Право?

— К тому же наш барон-то, кажется, просто вольнодумец... Он был у вас с визитом?

— Нет.

— Будто?

— Право.

— И у меня не был... Ну, пожалуй, у меня еще ничего, а вы начальник города... А вы к нему ездили?..

— Ездил... почел долгом.

— В мундире?

— Да.

— И он не оплатил за визит?

— Как не оплатил?..

— Ну, то есть сам не явился к вам?

— Нет.

— Да что ж он, в самом деле, о себе думает?.. Право, не худо его проучить.

— А впрочем, — заметил городничий, — я, право, не понимаю, что он нашел в аптекарше? Немочка — и все тут. Вот то ли дело польки! Как мы в Белоруссии стояли, так я на них нагляделся: нечего сказать — женщины! Как воспитаны, как танцуют мазурку... Такие все амурчики, что просто из рук вон! Что ж, вы полагаете, мне надо поговорить с Францем Иванычем?

— А уж это ваше дело. Поступайте как знаете.

— Вот штука, — шепнул исправник заседателю во время присутствия, пока старый секретарь непонятливо гнусил бесконечный и бестолковый доклад, — штука так штука. Просвещение и до нас добирается. Аптекарь продал свою жену за пять тысяч рублей.

— Поторопился, — сказал, подумав, заседатель. — Мог бы получить больше; ну, и то

куш порядочный. Есть же людям счастье!..

— Какая резолюция? — спросил секретарь.

— А как ты думаешь?

— Да, предать суду и воле божией.

— Я согласен.

— И я тоже.

Исправник и заседатель подписали резолюцию и отправились по домам.

— Ну, матушка, — говорила статская советница Кривогорская бедной дворянке, стоявшей перед ней в голодном почтении, — ну, матушка, слышала?.. Мерзость какая! Пфу!

Статская советница отвернулась и плюнула с негодованием.

— Про аптекаршу, что ли, матушка?..

— Про кого же другого? Ведь есть же эти-кие мерзавки!

— Поистине, грех великий.

— Что-о-о?..

— Грех, матушка, великий.

— Я не велю ее на двор к себе пускать. А ведь он, матушка, говорят, богатый человек... Много дарит, верно. Не слыхала ли?

— Нет, не слыхала-с.

— Экая ты бестолковая. Никогда ничего не

узнаешь.

Говорят, собой хорош. Ты его видела?

— Видела.

— Брюнет или блондин?

— Не разглядела хорошенько.

— Что ж ты, слепая, мать моя? Ничего ты таки не знаешь. Ходишь себе болван болваном. Я его дедушку, должно быть, видала в Москве, когда мы с покойником жили на Никитской[22]. Кажется, мог бы вспомнить, что я не бог знает кто; хоть бы плюнуть пришел сюда, так нет. Очень важная особа! Беспокоиться не угодно... Да и хорошо делает. Он уж верно ничего такого у меня не найдет. Экая мерзость! Пфу!!

Несколько дней спустя дрожки городничего остановились у аптеки. Франц Иванович, как человек нечестолубивый, поморщился немного от неожиданного визита, однако же встретил градоначальника с должною почестью.

Городничий, человек доброжелательный, но глупый, принял за дело данный ему совет вмешаться в семейные дела аптекаря.

— Я имею с вами переговорить об экстрен-

ном случае, — сказал он важно.

— Чем могу я вам быть полезен? — отвечал аптекарь. — Девичьей кожи у меня нет, а ромашки не осталось.

— Обязанность моя, — продолжал городничий, — не ограничивается только одним полицейским наблюдением. Начальство обязано, как попечительная мать, вникать в нравственные отношения жителей и указывать на то, чего они должны остерегаться.

— Непременно, — отвечал аптекарь.

— Я очень рад, что вы со мною согласны. Мы с вами люди степенные и можем обсудить дело не горячась — не правда ли?..

— Точно.

— В старину было иначе. Я скажу хоть про себя: когда я стоял с полком в Белоруссии — вы знаете, около Динабурга[23], - я был еще молод, часто влюблялся, могу сказать накутил порядком... Да что за женщины эти польки — загляденье! Панна Дромбиковская, панна Чембулицкая... Наши русские и в подметки им не годятся...

— Да к чему это? — спросил аптекарь.

— Виноват, заговорился. Я хотел только

сказать, что я надеюсь, что вы примете как следует то, что я имею вам сообщить.

— О панне Чембулицкой?

— Нет-с, о вашей супруге.

— Об моей жене? — закричал аптекарь таким голосом, что городничий отскочил на два шага.

— Не пугайтесь, это толки, о которых я для пользы вашей хотел вас предупредить.

— Какие толки?..

— Так... ничего... Только многие у нас удивляются... частым посещениям барона в вашем доме... и делают гнусные сплетни... Вы понимаете?.. Я совсем не этого мнения... Но есть признаки. Надобно быть осторожным...

Аптекарь задрожал всем телом.

— Вы видите это окошко, — сказал он задыхающимся голосом, — скажите всем, которые явятся ко мне с подобными предостережениями, что я их вышвырну вон, как негодную стеклянку. Жена моя чиста как голубь... Она выше клеветы, она выше всех низких сплетней, которыми живет ваш глупый город, господин городничий. Если кто-нибудь коснется хоть словом, хоть намеком до ее ре-

путации, то вы видите эти руки... я руками разорву его как собаку, пока у меня будет хоть капля крови! Жену мою оскорбить! — кричал аптекарь. — Жену мою! Да это задеть мое сердце раскаленными щипцами. Да знаете ли, что в сравнении с ней весь ваш город... не стоит прошлогодней пилюли. Да я истерзаю, истолку в мелкий порошок всякое животное, которое дотронется только до нее!

В эту минуту аптекарь вырос на два аршина. Городничий пожал плечами и потихоньку выбрался на крыльцо.

Аптекарьша стояла за дверью и все слышала. Когда она отворила дверь, муж ее спокойно уже сидел за конторкой, писал свои счета и потряхивал рыжей головой.

— Что это ты шумел с городничим? — робко спросила Шарлотта.

— Да что, все пристаёт, чтоб я тротуары чинил на свой счет, а из каких доходов?..

Аптекарьшу тронула бескорыстная привязанность ее мужа. Совесть начала ее мучить.

«О! — подумала она. — Отчего мой муж не дурной человек, я была бы спокойнее. Странная моя участь!..

Бедное мое сердце! Я не могу любить человека, который посвятил мне всю жизнь свою, а готова погибнуть для того, который был бедствием моей молодости! Но по крайней мере я не изменю своей обязанности; я останусь верна велениям закона».

Три недели прошли в мучительном упоении. Увлеченная обманчивым рассуждением, аптекарша предалась вполне преступному чувству. С утра смотрела она у окошка, не идет ли вождеденный, и когда он показывался вдали, глаза ее радостно сверкали, и когда шаги его отзывались на крыльце, сердце ее билось, страстный румянец пылал на щеках ее; она была счастлива: и бедный городок, и бедная аптека казались ей раем земным.

А он? Кто вникнет прозорливо вовсе изгибы человеческого сердца с высокими природными началами, но испорченного от прикосновения света? Он тоже увлекался тайною прелестью восторженного сочувствия. Желая быть Фоблазом, он едва не сделался Вертером. [24] Он был влюблен истинно, влюблен как студент, а хотел рассуждать о любви как лев новой школы. Он стыдился иногда искренно-

сти своих чувств и всячески старался возвысить себя до окаменения модного изверга. И любовь — эта чистая капля небесной росы — невольно освежала его коварные замыслы, и обольщенный обольститель, ежечасно прерываемый в своих безнравственных предприятиях, должен был поникать головою, играть в четыре руки и слушать наивные рассказы о прежних подругах, о школьных невинных шалостях, о скромном ручейке девичьей жизни, тогда как воображение его возмущалось кипящим ключом. Тщетно старался он возобновить сцену памятного обеда: аптекарша истощала все женские хитрости, чтоб отклонить признания и страстные речи; и когда он сердился и душевно проклинал свою светскую оплошность, она так очаровательно умела ему улыбаться, она так выразительно глядела на него, что чело его снова прояснялось и надежда вкрадывалась в грудь. Иногда бедный барон нападал на самые разочарующие мелочи жизни; иногда аптекарша выходила к нему с озабоченным видом и засученными рукавами: это значило, что в этот день у нее стирали белье; иногда платье ее уж че-

ресчур оскорбляло моду; иногда она прерывала намеки о вечной страсти и поспешно уходила в кухню взглянуть на жареную баранину, составляющую, как известно, важный предмет губернского продовольствия, — в эти минуты барон бесился на себя, на страсть свою и приказывал Якову укладываться. Потом, думал он, что неучтиво же уехать не простясь, и он опять отправлялся в аптеку. Шарлотта сидела задумчиво у окна. В глазах ее отражалось небо глубокого чувства. Она ему улыбалась... Голос ее, звучный, мягкий, отдавался в его сердце, и он снова забывал свою досаду, планы искусного обольщения и сидел и засиживался по-старому, не наглядевшись и не наслушавшись досыта.

VI

Однажды фронт в венгерке посетил барона, как тот только вставал с постели и распечатывал письмо, принесенное с почты.

— Извините, я вам, кажется, мешаю.

— Ничего-с.

— Ну, если позволите... Прикажете подать трубочку.

— Яков! Подай трубку.

Яков сердито всунул трубку фронту и хлопнул дверью.

Барон прочитал письмо и улыбнулся.

— Из Петербурга изволили получить?

— Да.

— От родственников?

— Нет, от знакомой дамы.

— А! Верно, по-французски?

— Нет, по-русски.

— Ах! Это любопытно; желательно бы знать, как петербургские дамы пишут. Секретов нет-с?

— Никаких.

— Ах! Так позвольте взглянуть.

— Да на что вам?

— Из любопытства-с.

— Читайте, пожалуй.

Франт с жадностью схватил письмо и осмотрел его со всех сторон.

— Как пахнет! — сказал он. — Что за прелесть! Сейчас видно, что из столицы. А в углу это что?

— Герб графини.

— Ах, проказники какие! Чего не выдумают! Бумага с серебром; это графская корона?

— Да.

— Я еще не видывал такой. Очень мило!

Он начал читать.

«Я обещалась писать к вам, но так как письмо — дело опасное, то не взывайте, если я буду вам писать по-русски: оно менее компрометирует, и никто еще, я думаю, не употреблял во зло письма, писанные по-русски.

Спасая таким образом конвенансы[25], я предаюсь удовольствию писать вам. Мы вас очень сожалеем и грустим, что не можем более вас слышать, говорить и шутить, по обыкновению нашему. Что вы делаете в вашей скучной провинции, грозный наш лев? Мы все о

вас плачем. Без вас скучно. Вчера мы танцевали на водах, были ужасные фигуры. То ли бывало в старину! Порядочные кавалеры становятся чрезвычайно редки. Вот до чего мы дожили: львицы окружены чуть ли не детьми. Острова совершенно пусты. Всего нас три или четыре женщины.

Погода хорошая. Что вам еще сказать? В Павловский вокзал ездят теперь что-то немного. Муж мой уехал в деревню хозяйничать и предлагал мне взять меня с собою. Только я ужасно боюсь провинции и воображаю себе что-то ужасное. Какие, я думаю, там чепцы и шляпки носят — просто надо умереть со смеху, и какие щеголи, всё к ручке подходят, и какие женщины, какие претензии — верно, очень смешно. Приезжайте-ка поскорее да расскажите нам, что вы видели, чтоб было над чем посмеяться, а там поедемте за границу, в Париж. Я с нетерпением того ожидаю: нам там будет очень весело вместе. Здешних новостей мало. Ваши знакомые и приятели вздыхают каждый у ног своей красавицы, а я совершенно одна. Может быть, оттого,

что вас ожидаю.

Смотрите же, с вашей стороны не влюбитесь в какую-нибудь жену этих монстров, которых я видела в «Ревизоре»[26]. Мы делали на днях partie de plaisir[27], ездили все в русский театр. Право, не так дурно играют. Вообразите, я была в первый раз в жизни в русском театре! «Ревизор», сочинение какого-то Гоголя. Довольно смешно, только mauvais genre[28], как вы себе можете представить.

Прощайте и не забудьте, что мы нетерпеливо вас ожидаем. Я жду от вас письма и, как вы обещались, подробного описания карикатур, с которыми вы живете...»

— Прекрасно написано! — сказал с восторгом фронт. — Ведь, кажется, ничего, а прелесть! У этих светских людей все это так кстати, так прилажено — что значит манера! И, верно, красавица-с? — продолжал он, лукаво улыбнувшись...

— То есть не дурна, а впрочем...

— Ну-ну-ну, полноте скромничать! Из всего видно, что должна быть красавицей. Да иначе быть не может. Ну, счастье вам-с, гос-

подин барон.

— Право, ничего нет особенного.

— Да уж вы, разумеется, не расскажете. А позвольте попросить еще трубочку.

Выкурив еще две трубочки и заметив, что нового ему нечего добиваться, фронт раскланялся, улыбнулся и отправился прямехонько в аптеку. Там, по-видимому, все было тихо и благополучно. Шарлотта Карловна сидела у окна и смотрела, не идет ли кто по улице, а Франц Иванович в демикотоновом халате читал старую немецкую газету.

— А я сейчас от барона, — сказал фронт. — Какой славный молодой человек!

Шарлотта поспешно к нему обернулась; Франц Иванович кивнул головой.

— Да, человек, кажется, хороший!

— Просто чудо, что за малый! И откровенный, веселый какой! Вообразите, мы уж с ним совершенно подружились.

— Право?

— Знаете что, только, пожалуйста, это между нами: он мне признался, что у него в Петербурге есть кое-какие знакомства — понимаете?.. Гм...

— Неправда! — воскликнула, побледнев, аптекарша.

— Неправда? Вот хорошо! А как же я сейчас читал письмецо... Ну уж письмецо! Нечего сказать, прелесть!

— От женщины? — спросила Шарлотта.

— От кого же? Да еще от какой!.. Он мне сам признался, что красавица — понимаете? Столичная красавица, не то что наша какая-нибудь уездная.

— А что ж она пишет? — спросил Франц Иванович.

Аптекарша вся обратилась во внимание и старалась отгадывать то, чего не могла понять.

— Вот в том-то и штука, что пишет. Только, смотрите, чур не пересказывать. Мне-то показано под большим секретом.

— Хорошо, скажите только.

— Во-первых, — сказал таинственно рассказчик, — несколько слов я не понял... Что значит конвенансы?

— Приличия, — сказал аптекарь.

— Ага, вот что! А барон-то, кажется, с дамами мастер своего дела. У! Как они к нему пи-

шут.

— Да письмо... письмо, — сказала умоляющим голосом аптекарша.

— Как бы припомнить... да... «Я не знаю, как спасти конвенанс...», то есть, известное дело, приличие, «но я предаюсь удовольствию к вам писать. Зачем вы уехали?.. Я о вас плачу... Вы лев...» Вероятно, он с ней поступил неделикатно... «То ли было в старину... Там ходят львицы с своими детьми. Поедете за границу, там мы будем счастливы...» А?.. Каков?.. Не в бровь, а прямо в глаз, просто похищение!.. Да то ли еще. «В вашей провинции должны быть ужасные карикатуры...» Это о нас, кажется... Неучтиво немножко, да ничего... «Приезжайте поскорее, чтоб было чему посмеяться, а женщины и чепчики у вас там, верно, преуморительные. У других женщин есть свои вздыхатели. Но я вас ожидаю. Не влюбитесь в жену какого-нибудь монстра...» Что такое монстр?

— Чудовище, — сказал аптекарь.

— Это уж я не знаю, на чей счет сказано. «Мы все вас ожидаем...» Каково? О нем там плачут... а он живет себе у нас в уездном горо-

де, как будто наш брат какой; вас иногда навещает, а со мною очень дружен...

Быть может, франт распространялся с особым удовольствием о мнимых победах барона, досадуя на явную склонность аптекаря, только рассказ его имел странное окончание. Франц Иванович отозвал его в угол и попросил не посещать более его аптеки, а Шарлотта, бледная, расстроенная, все сидела еще у окна, но не смотрела более на улицу и не двигалась, не говорила, как будто потерянная, в самых грустных размышлениях.

Франт поворчал немного и пошел к исправнику, а оттуда к судье рассказывать содержание прочитанного им письма.

VII

Бедная Шарлотта не могла сомкнуть глаз целую ночь. Что она? — бедная, необразованная, ненарядная, порою прачка, порою кухарка, аптекарша, провинциалка перед блистательными дамами в перьях и кружевах, с которыми знаком барон, — минутная забава, игрушка от скуки. Еще и за то ему спасибо, что он снизошел до нее и соблаговолил вымолвить ей несколько ласковых слов. Но все это было шуткой. Где ему любить аптекаршу: он любил даму, у которой на голове брильянты, а на руках браслеты. Она пишет к нему письма; она ожидает его с нетерпением; а как он вернется, то-то они будут смеяться над аптекой, над аптекаршей и над нежной страстью среди ревеню и хины!

Ревность, жгучая ревность начала душить Шарлотту. «Да, — шептало ей воспламененное воображение, — он любит другую... Она не так хороша, как ты: у нее нет ни свежести твоей, ни яркого твоего румянца, ни твоих густых локонов; но мужчины этого не замечают. У нее все роскошь и изобилие, у тебя все

бедность и недостаток; у нее цветы в комнате, цветы на голове, везде цветы во время зимы и осени, во время целой жизни; у тебя, вокруг тебя грустные принадлежности твоего сословия, медные деньги, сальные свечи, уездная жизнь, запах аптеки, лохмотья и одиночество... Тебе ли любить знатного господина, которому, как он ни старайся, должна быть противна твоя нищенская жизнь?.. Разве ты забыла, разве ты не заметила, как при виде вашего недостатка чело его хмурится и на устах его выражается презрительная улыбка? А ты, послушная раба, ожидаешь только взгляда, взгляда сострадания, а не любви; и ты забыла свою гордость, достоинство твоего пола, чтоб сделаться посмешищем богатой женщины и предметом шалости светского человека, который всегда презирал твою бедность и постыдился быть счастливым с тобою».

На другой день аптекарша была задумчива и бледна.

Франц Иванович посматривал на нее с беспокойством, потчевал ее разными порошками и казался расстроен!

В двенадцать часов, по обыкновению, явился барон.

Аптекарша приняла его сухо, не отвечала почти на вопросы и вскоре скрылась под предлогом домашних хлопот. Барон посердился и ушел домой. Франц Иванович молчал.

На другой день то же; на третий то же; аптекарша бледна и задумчива; ни разу она не улыбнулась, ни разу не вздохнула. Во взоре ее было что-то холодное, мертвое, страшное. Франц Иванович молчал.

Прошла неделя; был вечер; барон, поддерживая голову рукою, сидел в грустном раздумье. Холодность аптекарши лучше всякого умышленного кокетства усилила его страсть. Коварные замыслы исчезли. Он просто любил, как любят молодые люди, пламенно, без покоя, без сна, с малой надеждой и безмерным отчаянием.

Быстрая перемена Шарлотты была для него непостижима. Одна минута объяснения — и все могло бы поправиться, но теперь, как нарочно, проклятый аптекарь ни на шаг от жены не отходит.

Вдруг он поднял голову. Дверь скрипнула. В комнату вошел Франц Иванович.

— Вы здесь?

Франц Иванович был немножечко бледен.

— Я, — сказал он, — пришел к вам, барон, за довольно важным делом. Вы у нас в городе по службе?

— По службе.

— Ваше поручение кончено?

— Кончено..

— Так зачем же вы у нас живете?

Барон смутился.

Аптекарь сложил руки и продолжал:

— До меня дошли гнусные сплетни, на которые я отвечал как следовало. Я так уверен в своей жене, что не оскорблю ее подозрением; однако в маленьком городке злоумышленный слух может иметь самые неприятные последствия, и это-то я обязан отвратить.

— Вам угодно сатисфакции? — сказал, подумав, барон.

— Сатисфакции? — отвечал с достоинством аптекарь. — Не стыдно ли вам, господин барон, и вымолвить такое предложение! Я не студент более и не светский человек. Вы

думаете, что для личного неудовольствия, прискорбного лишь моему самолюбию, я готов погубить всю будущую участь своей жены или позволю вам играть со мною в великодушные. Нет, барон, мы с вами уже не мальчишки. Я за другим делом пришел к вам.

— Что же вам угодно?

— Поезжайте в Петербург...

— Хорошо... через несколько дней...

— Нынче же...

— Не могу, право...

— Не можете?

— Нет...

— В таком случае мы можем сесть, и я вам расскажу маленькую историю. В одном городке жил добрый старичок профессор. У него была единственная дочь... К ним вкрался в дом один бессовестный молодой человек...

— Позвольте! — закричал барон.

— Не перебивайте моей истории. Да, этот молодой человек был без совести, потому что, зная, что он не женится на девушке, он не должен был волновать ее неопытное сердце, не должен был вводить доверчивого старика в заблуждение, не должен был играть своими

природными достоинствами и жертвовать для своей забавы спокойствием целого семейства...

Барон опустил голову.

— В том же городке жил другой молодой человек, не блистательный, без состояния, без красивой наружности. Не имея блестящей будущности, он трудился неутомимо, чтоб со временем достать себе кусок хлеба...

Но и у него было, может быть, сердце молодое, и он мог любить... ну, да не в том дело... Только он ничего не ожидал и ничего не надеялся — понимаете?.. Теперь буду говорить без обиняков. Когда вы уехали, все в городе знали, что Шарлотта вас любила. Все думали, по простым нашим понятиям, что, быв как жених в доме, вы скоро приедете к свадьбе. Но я один вас разгадал и пошел знакомиться с профессором. Старик мне рассказал, как он вас любил, как он надеялся и как обманулся. Я предложил ему ехать в Петербург узнать, есть ли еще надежда на ваше возвращение... Я отправился. В то время вы волочились за княжной Красносельской...

— Как, вы знаете? — воскликнул барон.

— Знаю. Она вам отказала. Но для Шарлотты не было надежды. Тогда я на ней женился. Только, видит бог, я не докучал ей страстью, которой она не могла разделять. Я поклялся только быть ее защитником и хранителем. Отец ее умер. Я перевез ее сюда, думая, что ей будет слишком больно оставаться на месте, где столько для нее грустных воспоминаний. Но она все была печальна и несчастлива. Это меня убивало. Вы не знаете, что значит казаться всегда беззаботными веселым и таить тяжелое горе на душе. Вдруг вы приехали. Я думал, что, если жена моя вас все еще любит, мне останется убежать куда-нибудь... потому что я все готов отдать для ее счастья. Или если узнает она, до какой степени вы принадлежите большому свету, то она снова может обрести душевный покой. Так живу я с вашего приезда, не требуя, но ожидая признания. Нынче она мне все рассказала; она просила у меня прощения и защиты, как будто она виновата, как будто я ничего не знал. Она поручила мне — слышите ли, она сама мне поручила вам сказать, что она просит вас удалиться, потому что между светским щеголем и

бедной аптекаршей не должно быть ничего общего. Извините меня, если я вас огорчаю, но я исполняю долг свой. Неужели вы не исполните своего?

— Яков! — закричал барон. — Ступай на почту за лошадьми.

Несколько минут ни тот, ни другой не могли вымолвить слова.

— Спасибо вам, — сказал наконец аптекарь. — Вы, однако ж, добрый человек. Свет вас не совсем еще испортил.

— И вы еще меня благодарите! — с чувством отвечал барон. — Вы, перед которым бы я должен был поклониться с благоговением.

Станный разговор их принял тогда другое направление. Они начали вспоминать университетские годы, своих общих товарищей, свою общую любовь. Они были как два человека, которые видят друг друга в первый раз. Аптекарю было жаль барона, а барон, пораженный высокой простотой аптекаря, в благородном порыве чувства признавал все свое ничтожество. В эту минуту между ними было что-то братское, потому что оба были готовы

пожертвовать жизнью для одной и той же женщины.

Долго говорили они о прошедшей молодости, о старом профессоре, о коленкоровом платье, об окне с занавеской и о горьком опыте жизни, а между тем Яков радостно перетаскивал чемоданы и пристегивал ремни к дорожной коляске.

Наконец лошади приведены. Все готово. Барон и аптекарь обнялись.

— Поклонитесь ей, — сказал, заплакав, барон.

— Не забывайте нас, — отвечал печально аптекарь.

Они еще раз обнялись.

Кучер махнул кнутом. Коляска покатилась.

Когда аптекарь возвратился домой, жена его, бледная, покрытая распущенными волосами, стояла на крыльце со свечой в руке и трепетно ожидала возвращения его.

— Ну, что? — спросила она глухим голосом.

— Уехал, — отвечал задумчиво Франц Иванович. — Теперь ты будешь спокойна.

— Уехал!.. — протяжно сказала аптекар-

ша. — Уехал!..

Свеча выпала из руки ее, и она без чувств покатилась на пол.

Прошел год. В русском городке мало перемены. Гостиный двор нагнулся еще более. Кое-где еще несколько крыш развалилось. Ходить по тротуарам стало невозможно.

Однажды утром знакомый нам господин в венгерке, посидев в лавке купца Ворышева, попробовав нового черносливу и старых пряников, пошел к почтовому двору узнать, нет ли проезжающих. Попрыгивая по грязным тропинкам, он заметил идущего к нему навстречу человека. Первым взглядом опытного провинциала он заключил, что встречный не из городских, а вторым — что он ему не совсем незнаком. Он подошел поближе и вдруг остановился.

— Ба!.. Барон!

— Здравствуйте.

— Что, вы опять к нам?

— Нет; я только проезжаю.

— А коляска ваша?

— Она у почтового двора. Лошадей запря-

гают, а пока я пошел прогуляться.

— Так-с... Какой хорошенький у вас платочек носовой! Фуляровый, что ли?

— Да.

— Ах! Позвольте взглянуть. Очень мило!

Барон вдруг остановился и побледнел.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он трепетно, — отчего в аптеке снята вывеска?

— Как, вы разве не знаете?

— Нет.

— У нас аптеки нет больше.

— А Франц Иваныч?

— Переехал в губернский город.

— Право? Отчего ж?

— Да так, после несчастья не хотел оставаться.

— После какого несчастья?

— Как, вы и этого не знаете?

— Нет.

— Шарлотта-то Карловна...

— Ну?..

— Долго жить приказала.

— Умерла?!.

— Да вот никак уж четвертый месяц. А я думал, что вы это знаете. Да, умерла бедняж-

ка. Ведь, помните, хорошенькая была! Хоть бы в столице: сказали бы, что хорошенькая, право.

— Она долго была больна?

— Месяцев восемь. Муж, бедный, не отходил от нее ни на шаг. Да что тут делать? Против чахотки нет средств. Вы пробудете день с нами? Городничий наш женился на польке. У него можем отобедать. Знаете что? Странность какая! С тех пор как он женился, он совсем перестал хвалить полек — такой, право. Пойдемте к нему.

— Нет, нет! Я спешу в Петербург. Прощайте!

Из-за угла показалась дорожная коляска.

Примечания

Впервые напечатано: «Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина». СПб. 1841, кн. 2.

[^^^]

Ландсман, буршеншафтер — названия студенческих корпораций.

[^^^]

Залы фехтования. (Прим. авт.)

[^^^]

Вассерштифели — высокие сапоги (*нем.*).

[^^^]

Лошак (*нем.*)

[^^^]

6

Мой молодой друг (нем.)

[^^^]

Обоих прав (*лат.*)

[^^^]

Камералист — юрист.

[^^^]

Служитель дипломатии (*лат.*)

[^^^]

Искусство долго, жизнь коротка (*лат.*)

[^^^]

...кашу под названием офен-гриц... — особым образом приготовленная манная каша.

[^^^]

Студенческие пиры. (*Прим. авт.*)

[^^^]

...заниматься, по выражению Языкова, головоломным искусством. — Поэт Н. М. Языков учился в Дерпте в 1822–1829 годах и посвятил множество стихов студенческой вольнице. Здесь цитируется его послание «К А. Н. Вульффу» (1826), где о фехтовании сказано: «Учи ж меня, товарищ мой, головоломному искусству!»

[^^^]

Смерть (*лат.*)

[^^^]

Тише (*лат.*)

[^^^]

Честь и слава в веках! (*лат.*) Цитата из «Gaudeamus».

[^^^]

Майорат — неделимое земельное владение.

[^^^]

...ручевский фрак — фрак, сшитый модным петербургским портным Ручем.

[^^^]

В Россию (нем.)

[^^^]

Хорошо (*нем.*)

[^^^]

Еще! (*нем.*)

[^^^]

...жили на Никитской. — В Москве было две улицы с таким названием: Большая Никитская (ныне ул. Герцена) и Малая Никитская (ныне ул. Качалова).

[^^^]

...около Динабурга — ныне Даугавпилс (Латвийская ССР).

[^^^]

Желая быть Фоблазом, он едва ли не сделался Вертером. — Фоблаз — герой романа Ж. Б. Луве де Кувре «Любовные похождения кавалера Фоблаза» (1790), блестящий соблазнитель; Вертер — герой романа И. В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774), несчастливый в любви, сентиментальный юноша. Интересно, что возлюбленную Вертера зовут, как и героиню рассказа, Шарлоттой.

[^^^]

Конвенансы — приличия (фр.).

[^^^]

...я видела в «Ревизоре». — Премьера «Ревизора» в Александрийском театре состоялась 19 апреля 1836 года, в дальнейшем комедия постоянно входила в репертуар. Мнение героини о комедии Гоголя совпадает с оценкой ее дворянским обществом (см. «Тарантас», гл. III).

[^^^]

Увеселительная прогулка (*фр.*)

[^^^]

Дурного вкуса (*фр.*)

[^^^]